

Лев Аннинский
Moskwa

ЭКСТРЕМИЗМ, ВИД СНИЗУ

Мы привыкли брать под прицел тот экстремизм, который обрушивается на людей «сверху». Для анализа тоталитарных концепций это удобней. Проще «раздраконить» какое-нибудь откровение Геббельса или посмеяться над Суловым, отводящим роману *Жизнь и судьба* двести лет жизни, чем представить себе, откуда ломятся в головы этих идеологов волны крутой непримиримости. Мы вообще отсчитываем от «голов», вернее, «от головы»: у нас получается, что экстремистские идеи, оформленные с большей или меньшей красноречивостью, падают на косноязычную массу и «овладевают» ею. На виду всегда — «коноводы» смуты, сами головы, кони — в статистическом «табуне».

Между тем энергия-то идет — от «табуна».

Хочу опереться на случай, когда эта энергия, круто разрушительная по своей сути и совершенно «неподсудная» в своей естественности, оказалась прослежена талантом художника, поднявшегося из самой народной массы и выразившего ее состояние.

Это — Василий Шукшин.

«В ТРИ ГОСПОДА БОГА МАТЬ!»

В ключевом эпизоде фильма *Калина красная* Егор Прокудин катается по траве перед церковью. Уголовник, забывший мать родную, в истерике кается — на фоне опустошенного храма божьего. Символика этой сцены бьет в «оба конца». Думаешь: да куда ж ему еще податься с вывихнутой-то жизнью, русский же он человек, в православном «поле» выросший. А с другой стороны: чего же это он по траве катается, в храм не зайдет?

С точки зрения нормальной клиники — банальная шизофрения.

С точки зрения реальной русской истории — хорошо узнаваемый надрыв: ситуация, в которой (или в ожидании которой) мы живем вторую тысячу лет...

Да как в храм-то зайдешь, когда храм пуст и разбит? Я, между прочим, в той церкви был году в 1976-м: двери выбиты, ветер свистит, небо видно сквозь пробоины... однако уже гордятся местные жители:

— У нас церковь — особенная; там Шукшин *Калину красную* снимал.

Теперь, наверное, уже восстановили.

Теперь и христианские параметры шукшинской души как-то сами собой разумеются. А как же? Где же ему еще каяться-кататься? Не перед костелом же, не перед мечетью, не перед синагогой! Все по Розанову: гуляй, душенька, гуляй, славная, а под вечер и к Богу...

Между прочим, в сценарии *Калины красной*, то есть в соответствующей повести, которая входит в *Собрание сочинений* Шукшина как законченное литературное произведение, никакой церкви нет. Посетив полуслепую старуху-мать, бывший уголовник притормаживает машину, роняет голову на руль (не на траву), зажмуривается... «Чего, Егор?» — пугается его спутница. — «Мать это, Люба...» — После чего не он, а она в смятении зовет бога: «Господи! Да почему вы такие есть-то?» — и это обращение ко Всевышнему проскочило бы мимо сознания читателя, если бы оно не врезалось в сознание зрителя, потому что в фильме выкидывает-таки Шукшин своего героя из машины под стены церкви, пусть не к порталу, пусть «с черного хода», не на паперть, а на траву, — но все-таки к церкви! И этот «фон», вычертившийся в кинокартине, страшным подсознательным самооткрытием, входит в душу — в мою душу, зрительскую; вот, помнится же четверть века! То есть, можно в *Калине красной* забыть всякие бардачные прибабасы, и березку «невинную», и даже страсти, включая и «кровавую развязку», но невозможно забыть два гениальные кинематографические попадания: то, как поет Есенина зек, серый от смертного предчувствия, и то, как катается в конвульсиях упакованный в черную кожу мужик перед белым силуэтом опустошенной церкви.

Невольный страх божий и вольное безбожие живут обок в шукшинском герое. И то, и другое кажется естественным в разбитой и яростной русской душе. Не буду проецировать это состояние на откровения отечественных мыслителей, от Лескова с его: «мы не крещенные, мы только оглашенные» до соловьевского: «Ксеркса или Христа?». Есть же целая библиотека суждений о русском человеке, разрывающемся между волей разгула (бунта) и волей самосмирения (самодержавия), хотя подмывает осмыслить шукшинский «случай» в контексте тысячелетней истории «народа-богоносца», периодически очищающего себя диким богохульством. Не хочу иллюстрировать Шукшиным эти прописи, но в качестве первого приступа к реальной драме его жизни попробую пробежаться по текстам, отметив те точки, где он соприкасается с...

С чем? С общехристианскими ценностями? С православной догматикой? С церковью как явлением жизни? Мы сходу попадаем здесь в ситуацию

смыслового раздвоя, когда мощное духовное напряжение (которое и делает Шукшина великим страдальцем и замечательным писателем) разряжается черт знает во что.

НЕ ВСУЕ ЛИ Я ЧЕРТА ПОМИНАЮ?

«Это где же так дивно поют и пляшут? Где так умеют радоваться? Э-э... То в монастыре. Черти. Монахов они оттуда всех выгнали, а сами веселятся...»

Тоже, между прочим, общение души с ангелами. От противного. В сказке *До третьих петухов*, где действуют в основном персонажи из школьного курса отечественной словесности, от Ивана Дурака до Ильи Муромца и от Бедной Лизы до Евгения Онегина. Учись Шукшин не в атеистическую эпоху, не миновать ему в такой сказке апостола Петра, царя Давида и всех присных его. Но обошлось чертями. Условия литературной игры Шукшин не нарушил; школьная программа так школьная программа! — хотя писалась сказка под самый конец жизни, когда уже по-настоящему мучился Шукшин проблемами веры, и, по свидетельству Лидии Шукшиной-Федосеевой, штудировал *Великих посвященных* Эдуарда Шюре, держа эту книгу в качестве настольной.

А до того?

А до того можно навскидку вспомнить три рассказа, где прямо выведена мелодия на православные мотивы. Навскидку — потому что это классика, шедевры первого ряда, переиздававшиеся десятки раз, и написаны на рубеже 60–70-х годов: *Крепкий мужик*, *Верую!* и *Билетик на второй сеанс*.

История, как «крепкий мужик» Шурыгин «своротил церковь», безостаточно вписывается в контекст народного своеволия, какое у Шукшина одним концом простирается в непредсказуемую стихийность ненормальных «чудиков», а другим упирается в неуправляемую крутость нормальных «мужиков». Меня сейчас интересуют мотивы и аргументы. Конкретно: антихристианские. Должны же они тут быть, если мужик на церковь наезжает.

Нет.

Есть — по видимости — нечто другое, а именно: колхозное рачительство. Построили новый склад, можно сломать старый. То есть — старую церковь, служившую складом. Богом в церкви не пахнет — пахнет вонючей бочкотарой, окаянными мышами и конской сбруей. Хотя коней нет.

С этой стороны «нет» и с той «нет». То есть в церкви никто не молится, и стоит она — «просто так». Привычно. «Привыкли видеть ее каждый день», вот и все.

Значит, совершенно не мотивированы тут: ни безумная агрессия мужика, зацепившего церковь тракторами, ни совершенно непонятное (ему самому)

упрямство других мужиков (впрочем, больше баб), которые «не молились, паразитки, а теперь хай устраивают».

Нет, кое-какие мотивировки все же нащупываются. Мотив спектакля, представления. Церковь — издалека видна, она стоит спокон веку «напоказ».

У Шурыгина тоже «показ»: вырастут детишки, будут помнить: «это, мол, Шурыгин церкву свалил». Спектакль — это у Шукшина вообще лейтмотив, мы спектаклей и в романе о Разине насмотримся. А пока о Шурыгине.

Все разыгрывается по принципу нахрапа. Чья возьмет? Сила на силу. Хватит ли у крепкого мужика сил свалить церковь? Или хватит у местного учителя сил остановить варвара?

Одолел варвар: свалил церковь.

Между тем, у варвара есть мать, и она, кроя на все корки хулигана-сына, только и может сказать в защиту церкви: «Она сил прибавляла».

Опять — сила.

Получается, что в данном сюжете, кроме соотношения сил, и нет ничего. То есть: пусто в небе, пусто в церкви, пусто в душе.

А может, то, что там «пусто», и есть причина дикого, безмотивного остервенения, охватывающего душу варвара? Ведь и противники его, сбежавшиеся, чтобы отстоять от него божий храм, действуют совершенно импульсивно. Как тот школьный учитель (еще, наверное, и атеист), что встал под стену: «Ответишь за убийство! Идиот...»

НО НЕ ПО ДОСТОЕВСКОМУ

Непонятно только (всем: и «идиоту», попершему сносить храм без всякого указания, от чистой дури, и оппонентам его, защищающим церковь не по вере, а по примете: «и знать не будешь, откуда напасти ждать»), — непонятно в этом взаимном «представлении», где стороны берут друг друга на испуг, на пушку, на фукса, — и вдруг такая неподдельность чувств?

Словно коснувшись пустоты в душе, добрались люди до такой последней черты, когда или погибнуть, или... пустоту скрыть. Оставить все как есть: стояла церковь триста лет, вот и пусть стоит — обезбоженная, пустая, провонявшая «бочкотарой».

Что это? Христианство? Вера? Что означает у Шукшина это яростное забивание боли агрессией? Откуда такое неистовство, вылетающее мгновенно в дурь и кураж? Вроде бы бывшему солдату-радисту, корректировавшему полет первого спутника (факт из армейской биографии Шукшина) не резон вступать в столь заполошные отношения со сферами небесными, раз он уже участвовал в их, так сказать, техническом освоении?

А тоска...

В церкви ничего. Ни Бога, ни Христа. Ни, на худой конец, попака завалящего. Лишь тоска. Невыносимая.

Это и есть суть ситуации.

Когда появится в шукшинском окружении первый завалящий попик — я ему не завидую.

Это уже рассказ *Верую!*

Камертоном, с первой строки та самая «тоска». Опять физически осязаемая: с запахом. Но не от вонючей бочкотары, а от «несвежего рта». Чтоб поневыносимей.

Подхватывается и мотив привычности, бессмысленной повторяемости. «Так же было сто лет назад... И всегда так будет... А зачем?»

От этого вакуума смысла стервенеет у Шукшина очередной «мужик». Жаловаться хочет, а некому. По пьянке идет в милицию и наговаривает на себя, чтоб арестовали и погнали в лагерь, причем непременно босиком. Старый русский способ смирить свою волю чужой волей: на этом у Шукшина и Разин выстроится. Но пока перед нами наш современник, «сорокалетний легкий мужик, злой и порывистый», никак не умеющий измотать себя на работе (чтоб вопросами не задаваться).

А тут — поп. Специалист по смыслу жизни. И, кстати, отнюдь не завалящий, а... тоже не столько духом живущий, сколько плотию: крупный, широкий в плечах, с огромными руками. «Такому не кадиллом махать, а от алиментов скрываться». Еще один вариант силы, которую видит и взвешивает в своих героях Шукшин.

На сей раз однако предпринята попытка дать не только срез души, но и картину мироздания, что в контексте нашей темы особенно существенно.

«Бог — есть. Имя ему — Жизнь».

Понятно. Первозданный гилозоизм. С точки зрения ортодоксального христианства подлежит критике.

А тот, который щеку подставлял?

Это такой «добрый, обтекаемый»? Нет такого!

Но хотя бы Вседержитель есть? Кто первотолчок дал всей этой Жизни?

Нету. Ни первоначала, ни конца венчающего. Чем все это кончится, неведомо. Куда устремилось, тоже неизвестно. (Это поп отвечает на вопросы мужика). Зло? Ну — зло... Если мне в этом великолепном соревновании сделают бяку в виде подножки, я поднимусь и дам в рыло. Никаких «подставь правую». «Дам в рыло, и баста».

Тоже понятно. Естественный отбор. На месте Отца, Сына и Святого Духа — Чарльз Дарвин.

Но тогда чем этот поп отличается от крепкого мужика Шурыгина, снесшего церковь ради того, чтобы из кирпичей сделать свинарник?

А ничем. И голоса эти два мужика в унисон. Вернее, поп ведет, тот вторит.

— Повторяй за мной: верую!.. В авиацию, в механизацию сельского хозяйства, в научную революцию-у! В космос и невесомость...

Финал рассказа, где добрый «попяра» и распропагандированный им «злой мужик», глумясь над символом веры, пускаются в пьяный пляс, мог бы показаться апофеозом богохульства, если бы...

Если бы с первой строки не было нам сказано и до последней строки не напоминалось бы о причине этого дикого пляса. Тоска. Пустота, которой не вынести.

ХОТЬ ЧЕМ ЗАПОЛНИТЬ!

Кажется, что Шукшин простодушно заполняет вакуум духа уроками советской школы, добавляя к *Евгению Онегину* лозунги космической эпохи, начавшейся с Первого Спутника. Но сам факт такого оборачивания уроков — сам художественный смысл этого веселого карнавального представления, предполагающего выворот всего и вся, говорит о том, что писатель, живописующий эту оргию, прекрасно отдает себе отчет в том, ЧТО вывернуто и ВО ЧТО может быть еще раз вывернуто. Ибо «химизация» и «космос», во-первых, оглашены не кем-нибудь, а «попярой», во-вторых, облачены в форму молитвословия... И в-третьих, «злой мужик», который в других обстоятельствах крушил церковь, теперь с веселым плясом идет в нее — «веровать».

Он еще думает, что строит свинарник. Но не из этих воняющих кирпичей мысленно слагает он нечто, похожее на все религии (включая, между прочим, и коммунизм). Христа он поминает все еще затем, чтобы сказать, что тот — слюняй. Но уже поминает! Ко храму воображаемому приближается в кошунственном плясе. Но уже приближается.

Ничего, скоро он начнет в истерике кататься по траве. Вот только сообразит, почему душа в тоске...

Третья попытка. Зачин — тот же: «что-то совсем неладно было на душе у Тимофея Худякова...»

Непременное освидетельствование нюхом: «козел вонючий» удостоверяет нас в смердении плоти, от коего и болит душа. Есть некоторые признаки все большего приближения души к церковной ограде: в ругани появляются «двенадцать апостолов» и «мама крестителя», хотя до разинской «три господа бога матери» Тимохе еще далеко. Однако в его рассуждениях появляется прямой религиозный мотив. «Не верим больше — вот и тоска. В боженьку-то перестали верить... Церкви позакрывали, матерщинничаем, блудим... Вот она и тоска».

И, делая скачок сравнительно с другими шукшинскими героями, минуя «попяру» и прочих служителей церкви, Тимоха обращается прямо к боженьке, то есть к Николаю Угоднику — бухается в ноги...

Нужды нет, что с пьяных глаз тоскующий Тимоха принимает за святого Николу своего тестя (белый, игрушечный такой старичок) — говорит-то он с Богом:

— Вот те крест; маленький был, веровал. В рождество Христа славить ходил. Не приди большевики, я бы и теперь, может быть, верил бы...

Большевики виноваты. Вообще все вокруг виноваты. «Испаскудился на-родишка». Старый русский способ самоочистки: грешить, как все. Не со-гресишь — не спасешься.

Путь спасения:

— Ты там к господину нашему, Иисусу Христу, близко сидишь... К деве Марии... По-советуйтесь там сообча и... это... Шибко уж жалко, батюшка... Родиться бы мне ишо разок! А?.. Пусть это не считается, что прожил... родите-ка вы меня ишо разок... Ведь я мужик-то неглупый... Из меня бы прокурор, я думаю, неплохой бы получился...

Ну, да: других обвинять. И сызнава по тому же кругу.

Попробуем подытожить. Значит, смысл жизни напрямую взыскуется с господа-бога. Это уже как бы чисто религиозный подход. При этом добывается смысл — через торг; ты — мне, я — тебе. Я тебе каюсь, а ты мне «билетик на второй сеанс», жизнь сызнава. И в этой новой жизни записной ворюга надеется навести порядок, покарав других воров. Как это называется-то?... Ах, да: справедливость.

Кажется, пустота начинает заполняться. Под злобу, которая обуреует мужика, потому что ему «не дают» быть добрым, под тоску, которая «безмотивно» томит и мучает его, под ярость, сжигающую ему душу, подводится наконец фундамент.

ДАЕШЬ СПРАВЕДЛИВОСТЬ!

Что это такое конкретно; справедливость — до конца никогда не ясно. Одному одно, другому другое. Но сигнальное словечко стоит: «дак». Одним дак все, другим дак ничего. В случае Тимохи; «кому дак все в жизни — и образование, и оклад дармовой...» — дальше идет перечень всего того осязаемого, чего нет в смердящей реальности. Непременно — осязаемого. Ежели кому дак воли не хватает, то ощутить эту волю кулаком. Никаких там «подставь правую». Кулаком! А то и сабельно: естественный отбор.

А не саблей, то пулей, да еще втихую, — как в повести о встрече в лесу уголовника и старика-человеколюбца. По христианскому разумению должен бы старик совесть у разбойника пробудить. Куда там! Гробанул душегуб добряка, в спину, подло: «Так будет лучше, дед...». И пошел дальше «злойбой своей харкать». То есть справедливости искать — для себя.

Я бы сказал, что Шукшин упирается здесь в «дно проблемы», как в дно ямы. Та пустота, которой не может вынести человек, это как бы яма. Человек в нее проваливается, а на дне — кол. Единственно кол, и больше ничего. Этот кол — справедливость.

Вокруг нее и крутится все, на нее и насаживают друг друга, ею и дерутся на-смерть. Предел рассуждения. Страшный, надо сказать, диагноз писатель ставит своему народу, пытаясь облегчить ему душевные муки. Все переделать! За все рассчитаться! Мстите, братья! — называется главная часть главного произведения Шукшина — романа о Разине, книги, над которой он работал всю жизнь и в которой с максимальной для себя скрупулезностью выяснил отношения с христианством. То есть: с богом, церковью, попами, юродивыми и всякими там, вроде Николы или Зосимы, святыми угодниками.

ОТ АНАФЕМЫ ДО АНАФЕМЫ

Роман открывается буханьем церковного колокола и им же завершается. От анафемы до анафемы ложится путь Разина — сплошь в христианском поле. Это — если говорить в патетическом смысле. Если же на уровне повседневного-бытового, — тут то же самое, только тон другой. Казаки ли бунташные, мужики ли тягловые, солдаты ли царские — все без Христа-бога шагу ступить не могут. В поход на царя — «с богом!» Против царя — тоже «с богом!» Кто оплошает — это его «дьявол» попутает, а бог спасет. «Ума и покоя» — тоже у бога просит. Выпил — и у него «ровно ангел по душе прошел босиком». Увидел девку — «сладкая девка, в святителя мать». Татарина увидел — «век не видались, в господ-бога мать». Кругом «бог», И все «Христианы»: и те, и эти, по обе стороны драки. И те, и эти друг друга ругают «нехрестиями». На каждом шагу анафемствуют, зубатятся, собачат друг друга — Христовым именем. Божья ругань. Я уж не говорю про рефрен «в три господа...» и его производные, но тут встречаются такие колена, что не только царский капитан-немец содрогается, но и читатель столбенеет: «— Дул я с вилюжками с высокой колокольни и на господ твоих, и на царя!».

Даже обложившись тремя томами *Словаря казачьих говоров*, я не выяснил, что это такое; «вилюжки» и как с ними «дуют». Но еще раз убедился, что без высокой колокольни тут не только на серьезный шаг, но и на пустяшный вздрог не решатся.

С одной стороны, это свидетельствует об оторванности от настоящей, осознанной веры, о том, что эта вера превратилась у разинских казаков в бытовую фон, в нечто вроде коврика, о который вытирают ноги. Но, с другой стороны, ведь только об этот коврик и вытирают! То есть, фон — неотменимо, магически неотступный. Стало быть, хоть и идет у разинцев в бога-душу-

мать гульба отвязная, но идет она неизменно в бога, то есть опять-таки все происходит в христианском поле, другого поля для этой гульбы нет; хотя бог тут и попутность, но без него ни шагу. Почва!

Попробуем расслоить эту почву.

Сразу — трещина: одно дело — бог и вера, и другое дело — церковь и попы.

Первая встреча:

— Сперва лоб перекрестить надо, оголтеи! — строго сказал митрополит. — В ко-
нюшню зашли!?

Разин и все казаки за ним перекрестились на распятие.

— Так: это дело сделали, — сказал Степан. — Теперь...

Вроде бы вскользь описано, а какова точность! Снайперски-меткий штрих: знаменитое, историками описанное русское народное о б р я д о в е р и е. Лоб перекрестили — и все в порядке. «Теперь» можно дела делать: воеводу с раската, митрополита за бороду, с патриархом на «ты», с богом...

С богом у Разина отношения сложные, не вполне осознаваемые, мы это еще увидим, а с попами — простые и осознаваемые в полной мере. Попы — «благостники, скоты». «Оглоеды». Их — в общую яму (которую роют, кстати, в монастыре).

До главного попа — патриарха — разинцам, конечно, высокогато. С ним однако пытаются вступить в игру. Не получается — просто потому, что у того своя игра: с самим царем, насмерть. Характерно, что патриарха Разин даже и уважает — за это самое; что с царем схлестнулся. Так что ему, Разину, охота патриарха... по спине похлопать. «Глянется» ему Никон. «Тоже, видать, хитрый».

О боге при этом — ни звука, ни намек. Не о том речь. Тут игра, проба сил. Так что если о боге, то и жди от патриарха подвоха. Потому что пустое место тут на месте бога.

Соразмерная разинской игре фигура конфликта — митрополит. Фигура достаточно близкая, чтобы схватить за бороду. И достаточно высокая, чтобы все-таки не размазывать по стене не глядя, а поиграть перед тем, имитируя спор.

Обе стороны в этом споре ссылаются на Христа, на бога и на веру, но речь в сущности опять-таки идет не о том. И сколько ни блажит долгогривый на евангельские темы, атаман только одно слышит: «— Добро награбленное пропиваете, а ни один дьявол не догадался церкви взнос сделать!».

Митрополит к казаку в душу влезть хочет — через то единственное место, где в эту душу, как он думает, проникнуть можно; прямо по Толстому: сделает, мол, казак взнос и полюбит бога за то добро, которое ему делает. Черта с два! Казак воспринимает другое: это, значит, попяра о дарах думает! А о спасении души — только комедию ломает.

МЕХОМ НАРУЖУ

Спуская все на уровень «брюха» и «игры», казаки охотно вступают в соответствующую игру: Разин ломает перед митрополитом издевательскую комедию. Круговая театральность пронизывает все эти сцены — не только оттого, что Шукшин наделяет действующих лиц своим природным артистизмом (без которого ничего и не написалось бы), а оттого, что подначка идет по существу, и подначка и есть само существо тут. Если вера — подвох, и все обман, стало быть, все надо вывернуть наизнанку: мехом наружу. Звереть так звереть. А что встречно прикидываются казаки добрыми или богомольными, так это от уверенности, что и попы прикидываются. Сквозной спектакль! Если и вызывает у Степана какой поп симпатию, то лишь в момент, когда «на пушку» Степана пытается взять; тот ему волосья на кулак наматывает, а этот... Илью-пророка зовет:

— Пусти на Стеньку стрелу каленую! Две пусти! Дюжину!! — дурашливым голосом.

А Разин — тем же дурашливым:

— Ну? Где стрелы?

Сверхзадача этих прений, ведущихся через довод в зуботычину, — уличение оппонента в подлоге. И вся ставка — на фальшь. Неспроста же центральный эпизод в отношениях Разина и митрополита — спор о поддельных «иконках». Упирается все опять-таки в жратву: безногий богомаз малюет иконки, потому что ему «исть нечего», а митрополит его голодом морит: не велит покупать иконки. Но и Разину важно не только накормить калечного, но прежде всего заставить митрополита признать поддельные иконки: втянуть в фальшивую игру.

— Ну, милосердный козел?! Молись алешкиному Иосифу! Молись, убью! Крутой старик понимает игру и упирается:

— Будь ты проклят! — и ждет выстрела. Но казак не дает выпасть из игры:

— Батька, не стреляй! — падает на колени перед Разиным стоящий рядом умный сподвижник. — Не искусись! Он — хитрый, он нарочно хочет, чтобы народ отпугнуть от нас!...

Ну, комедия с трагедией! Митрополит «нарочно хочет» умереть, чтоб Разина в грех ввести! Разин в икону стреляет, прямо в лицо Богородице, — это тоже «они» подстроили. Иконы батька порубил — опять «они»: митрополит порубленные иконы «всем показывает». До батьки только теперь доходит, что перехитрил его проклятый старик. Хватает же у Шукшина трезвости заметить, что у старика-митрополита «глаза лезут на лоб», когда он узнает, какую тонкую провокацию приписывают ему разинцы. Нечего не поделаешь,

надо играть ту комедию, которую навязывают победители. Причем играть на их языке.

Подделка веры — ключевой ход в этой «богословской» игре. «Поддельный патриарх», которого везут с собой разинцы, — любимый персонаж автора романа. «Огромный, с тяжелыми ручищами». Выпить мастер. «Выпивал как раз ведро медовухи, мосолом заедал... Потом об голову — вот так вот — ломал оглоблю... Для смеха». Вот-вот завопит: «Верую!! В революцию, в химизацию...» Шукшинский герой! Чудик родимый.

Смех смехом, однако вслушаемся в финал диалога, который ведет Степан Разин с поддельным патриархом.

«— Ты родом-то откуда?» — спрашивает Разин собеседника, которого сам же обрядил в патриархи, не зная, оказывается, кто он. Сейчас узнает. И мы узнаем кое-что интересное.

«— А вот, почесть, мои родные места. Там вон в Волгу-то справа Сура вливается, а в Суру — малая речушка Шукша. Там и деревня моя была, тоже Шукша...»

Вы поняли? Вообще-то обычно романист такие вещи от читателя скрывает, сохраняя иллюзию полной объективности. Но тут прорвалось. Вот где сердце-то разорванное схоронено.

Всей лютой обидой, всем мстительным нравом, всем напором темперамента Шукшин слит с характером Разина, недаром сам и сыграть его в фильме хочет, в роль его войти готов. Но какой-то интимный уголок души оставлен в секрете и тихий вздох слышится оттуда сквозь рык и хрип: что игра все это, подделка, а истина спрятана где-то на самом дне души, и истина эта невеселая.

Выломилась жизнь в такой «спектакль», что концов не найдешь и начала не сыщешь.

НО БЫЛО ЖЕ НАЧАЛО?

«— Знаю, он подлец отпетый, (сказал митрополит), — но все же... крестили же его!»

Берем конец нити. Сейчас Ариадна-Алена размотает клубок.

Подошли к церкви.

— Ну? — спросил Степан.

— Пойдем. — Алена впереди.

— Куда?

— Пойдем в церкву.

— Она ж закрыта!

— Там замок, он без ключа... Дерни покрепче, она откроется. Пойдем, Степа.

— Да зачем? — не понимает Степан, поднимаясь однако по ступеням к широким дверям церковным. — Чего там делать-то?
...Опустился на колени, изумляясь, как неистово может заблажить баба...

«Заблажить» — значит помолиться.

Баба просит:

— Говори: матушка, царица небесная...
— Я в уме буду.
— Не надо в уме. Говори за мной: матушка, царица небесная...

Здесь, как в стихе, мотивы работают. Церковь заперта, однако можно отворить ее силой. Баба блажит о том, о чем лучше промолчать. А молчать надо, потому что не знаешь, «чего там делать-то».

Он и потом, когда матушку-царицу небесную на иконе прострелит, не испытает других чувств, кроме чувства оплошности. И еще что примет дурная, знамение недоброе. На войне это нехорошо.

Однако вернемся во времена довоенные, когда еще не выхвачены сабли, и идет юный Степан в Соловцы, как все, помолиться.

Перед этой иконой все на колени опускаются, и я опустился... Гляжу на нее, а она — смеется... Рази так можно? Не по-божьи как-то...

Это точно, что не по-божьи. Казак видит в иконе только то, во что может поверить. И с божеством вступает только в такие отношения, на какое способен ответить. С богом он по большей части пытается сторговаться. Верит он в бога или не верит, это он не может определить. Это — «блажь» поповская. Определить он хочет, можно ли верить богу. И еще: «поверит он мне» или нет? То есть: обману я его или не обману? Это почти автоматически: что на душе, то и на боге. Если хитришь, ждешь подвоха и обмана, — то и бога на хитростях ловишь.

Шукшин, вроде совершенно слившийся со своим героем, это трезво сознает.

— Не любишь ты его, Степан. Так не любят: молится и тут же думает: не поверит бог!... Ты с им, как с кумом: в думы его тайные полез...
— Я попов шибко не люблю! — отвечает Степан, уводя разговор в привычное русло.

Почему уводит? Вернее, от чего уводит? Что прикрывает, спасаясь от беспардонных свидетелей? Вернее: что прячет? О чем периодически настаивающая любимого шукшинского героя дума?

Это рефрен:

Солнце выкатилось в чистое небо.
Сидит один на берегу, думает...

Позже: «На просторную степь легла тень...». Сидит на лугу, обняв руками колени. Думает. Позже: «Степь... Тишину и теплынь мира прошли сверху, с неба, серебряные ниточки трелей. Покой»... Опять думает. Ниточки с неба — это понятно. А вот «бесстрастно смотрящие святые» — с того же, почти-тай, неба?

Это непонятно. И чего у них просить — тоже непонятно.

Легче коня верного понять, чем человека: конь не выдаст. И пожалеть его легче: «— Прости меня... ради Христа...» — Это коню. А людям? «За что, Степан не знал, только хотелось у кого-нибудь просить прощения».

Он — добрый. Он про себя никогда этого не скажет, но люди вокруг — чувствуют. Он за людей — в обиде. Он за всех — мстит. Индивидуальный контакт — только на уровне воинской взаимопомощи. А о чем индивидуально бога просить — искренне не знает.

«— Какой Зосима-то? — спрашивает у монаха».

Вот так когда-то сторонники иконописи толковывали противникам: войдет в храм нетронутая душа и спросит: «Какой Христос?» — тут ей надо его показать.

«— А вон!.. Что ж ты, идешь молиться — и не знаешь, кому... Вот Зосима...».

Где какой святой, это казак может уяснить, и довольно быстро. А вот о чем просить — никогда. Потому что вообще просить не привык. И не привыкнет.

«ТО ГУЛЬБА, ТО ПАЛЬБА...»

С точки зрения канонической веры там, в душе, полная девственность. Пустота. С точки же зрения этой души, там переполненность. Переполненность обидой. И жаждой души заполнить. Тем, что снимет обиду.

Уникально это сочетание готовности к вере и неготовности поверить. Обида — за всех. Что всем, то и мне. Личностного отношения к богу — нет. Есть яростная самоотдача — за всех.

Для воинского подвига — идеальный строй души. «Мы на войне, ребятушки, и нечего каждый раз по сторонам оглядываться — то пришибли кого-то сгоряча, то... в иконку попали. Да как же без этого? На войне-то!.. Вы што?»

Для гульбы — тоже годится. «Поголутать мы с тобой сумеем». Это — деланому патриарху говорится. Потом спрашивается: а коли врагов одолеем да на Москве взаправду сядем ты — патриархом, я — царем? «Что делать станем?»

А вот тут полная тьма. Тьма, в которой и распоряжаются хитрые попы. Потому и прикована «дума» к этим долгогривым, что — секрет знают. Казалось

бы, ну и плюнь на них «с виложками с высокой колокольни»! Да колокольня-то — у них. Не плюнешь. Вот и получается, что привязан вольный казак к церкви, которую сам же проклинает. Проклинает — а отвязаться не может.

И кончается роман сценой — точно «на тему». По ходу дознания доходит дело до пытки водой: выбривают Степану макушку...

Вообще-то, судя по некоторым старинным парсунам, батька и так бритый ходил, с оселедцем. Но Шукшину это предпыточное бритье для своей цели нужно. Насчет веры доспорить.

«— Все думал... А что в попы постригут — не думал. Я грабил, а вы меня — в попы...»

На этом диспут о приверженности любимого шукшинского героя православной вере можно считать законченным. Большого не скажут: ни та, ни эта сторона.

РУССКАЯ ДУША В СВЕТЕ УЧЕНИЯ ТЕРТУЛЛИАНА

И все-таки тема «Шукшин и православие» представляется не просто закономерной, но даже и наболевшей. Не только потому, что весь строй души Шукшина — неподдельно русский, а русская душа, как принято думать, за тысячу лет перепяхана православием до основания. Я-то, грешным делом, думаю, что русская душа только наполовину перепяхана, а другой половиной подобна той степи, об которую обломает зубья любой плуг. Так что Шукшин моделирует русскую душу и в ее патетически-бунташной половине, и в той части, где продолжает пить из ведра и мосолом закусывать патриарх от глума. Тот самый, что сбежал когда-то из деревни Шукша.

Так теперь, когда русская душа освободилась от очередного опиума (на этот раз — от «коммунистического», как за век до того — от «церковного»), именно Шукшин может помочь нам понять эту душу независимо от этикетки на опиуме, то есть от богоборчества или богоискательства. Понять просто по эмоциональной ткани.

Эмоциональный строй души и есть ответ на тертуллианов вопрос, христианка ли она по природе.

Две пробы. Одна — из самых ранних шукшинских текстов. Другая — из самых поздних.

Рассказ из самых ранних (1960 год) и не слишком удачных, пожалуй (в периодике «не прошел», впервые появился в книге *Сельские жители*) называется сложно-сочиненно: *Солнце, старик и девушка*. В конструкции названия чудится составная механичность, свидетельствующая о том, что внутренней энергетики маловато: приходится соединять элементы встык.

Энергия должна излучаться из центра. В центре — деревенский старик. Сидит и смотрит на солнце. Молчит. Ни на что не откликается, ничего

не видит, кроме солнца. Самодостаточен. «Вещь в себе». Как сделать ее «вещью для нас», заставить нас почувствовать значимость такого загадочного самостояния? Для этого мобилизована фигура «со стороны»: городская художница.

— Здравствуйте, дедушка!

Кивнул. Не повернулся. Занят солнцем.

— Вы очень красивый, дедушка.

Усмехнулся. Словно почувствовал, что это сказано для нас, читателей. Чтобы мы поняли, в чем суть. Суть в красоте души. Жизнь была, а он терпел. Четыре сына на войне полегли — смирился. Работа тяжеленная всю жизнь — а все равно хорошо. Так и хочется сказать вслух то, что у старика на душе: что ни пошлет Бог — все к лучшему...

Слово «бог» однако еще запрещено. «Девушка знала, что она не бог вещь как даровита», — единственное упоминание о всевышнем, скользяще-обиходное. Ни бога, ни церкви, ни попов. Старик и солнце.

— Солнце — какое? — спрашивает старика умная девушка, читавшая Сент-Экзюпери и Хемингуэя.

— Большое, — отвечает мудрый старик, Чехова не читавший, но попадающий в самую точку, потому что именно Чехов, совершенно равнодушный к религии, подсказал святым атеистам всех толков формулу: «Море было большое».

Не веря, что мы осознали смысл картины, Шукшин заставляет девушку резонировать. «Что-то было в его жизни, такой простой, такой обычной, что-то не простое, значительное», — резонирует девушка и «чувствует какой-то более глубокий смысл и тайну человеческой жизни и подвига...»

Слово «подвиг» уже почти точно попадает в резонанс неназываемому христианскому самоощущению. Разумеется, всеохватный наив в принципе может быть и языческим, и буддийским, и мусульманским (в суфийском духе), и даже иудаистским (в духе хасидском). Но если поместить этот рассказ в христианское поле, он прорастает точными смыслами. И это поле тоже обозначено. Сын старика — пятидесятилетний изъезженный жизнью мужик — «всем недоволен». «Невестка тоже всегда чем-то недовольна». Старика крошат в молоко хлеб, и он хлебает с краешку стола, стараясь не шуметь.

Апофеоз светлого смирения, терпеливого безмолвия, умиротворенной доброты (делаю старинное ударение, чтобы подкрепить реплику девушки о «красоте») — это знаки благодати, и она заложена в природе шукшинской души. «Душа — по природе христианка», — повторю Тертуллиана. Это даже не азбука, это что-то предшествующее азбуке. Так что все искусства впереди.

ФИНАЛ ДРАМЫ

Кляуза — рассказ, написанный в самом конце 1973 года, в больнице, незадолго до смерти. — текст, перепечатанный влет «Литературной газетой» из журнала «Аврора», мгновенно подхваченный критикой, вызвавший шквальную реакцию читателей. С точки зрения искусства, экономности средств, точности интонации — шедевр. С точки зрения нашей темы — последнее искушение.

Шедевр — потому что пустяшное, но безобразное, мелко-оскорбительное происшествие, случившееся с Шукшиным и с пришедшими навестить его в больнице близкими, которых вахтерша хамски выставила за дверь, спроецировано на Абсолют, причем с ощущением, что привычная стилистика отлетает от Абсолюта, как горох от стены, и тем самым об Абсолюте свидетельствует. «Подобные люди из числа младшего персонала позорят советскую медицину...» Даже у профессионалов слова нет слов, чтобы слово стало Словом... немеют.

Да ты скажи: «Солнце большое» — сочувствуют писателям бессловесные простаки. Пообещай ты этой вахтерше шоколадку! Сунь пятьдесят копеек — она твоих гостей и пропустит! Э, нет. «Сунуть» — значит унижить. И ее, и себя. Писатель и вахтерша на принцип пошли, в упор друг друга не видят.

Вот это и есть последнее искушение. Ответь-ка добром на зло. С тобой несправедливы, а ты смиришься, тебя унижают, а ты терпи, тебя ударили, а ты подставь...

«Блаженны нищие духом» — чисто христианская загадка. Ну, ладно, если телом: тогда садится дедушка с краешка стола и хлебает тихо: тела нет, в чем только душа держится, однако держится: солнце — оно большое!

А тут — дух нищает: мелкость, мелочность, рабский гонор, бунт ничтожества. «Младший медперсонал». Вот эту — как пожалеть, когда там — сплошная нищета духа? На тебя эта нищета и перейдет. Чужую нищету духа на себя взять? На это духа не достает. «Я не умею «давать», мне неловко». Легче возненавидеть.

В чем запредельная правда этого рассказа?

В ощущении смертельного узла, в какой завязывается отвязанное достоинство. В ощущении смертной черты, до которой доводит человека ненависть, неотделимая от гордыни. В ощущении муки, вне которой нет и не будет ни благодати, ни святости.

Жить же невозможно, «когда мы такие»! «Что с нами происходит?» — взмолился Шукшин в последней строчке *Кляузы*.

Страна услышала и подхватила этот вопрос, поставив его рядом с роковыми: «Кто виноват?» и «Что делать?» Еще немного — и безбожие подломилось в стране и в душах.

«Нужно очень сильно верить в Бога, чтобы Его отрицать», — сказал в эту пору философ. Но чтобы признать Его, нужно самоотречение, подобное тому, что испытал Савл на дороге в Дамаск. Если душа готова, любая мелочь обернет душу. Тогда кляуза прозвучит молитвой. Если же нет, — то сколько бы экстремистских теорий и концепций ни обнаружили мы в головах умников, сидящих под солнышком на верхушке айсберга, и не избличили бы их теории, из глубины, из поддонья будет переть леденящая сила, бесконечная и неистребимая, потому что она естественна.

P.S. В рабочих тетрадях Шукшина сохранился набросок, содержание которого небезынтересно для нашей темы.

ПОЧЕМУ-ТО ОТЕЦ НЕ ЛЮБИЛ ПОПА

Когда поженился, срубил себе избу. Избу надо крестить. Отец на дыбы — не хочет, мать в слезы. На отца напирал родня с обеих сторон: надо крестить. Отец махнул рукой: делайте что хотите, хоть целуйтесь со своим длинногривым меринком.

Воскресенье. Мать готовится к крестинам, отец во дворе. Скоро должен прийти поп. Мать радуется, что все будет как у добрых людей. А отец в это время, пока она хлопотала и радовалась, потихоньку разворотил крыльцо, прясло, навалил у двери кучу досок и сидит тюкает топором какой-то кругляш.

Он раздумал крестить избу.

Пришел поп со своей свитой: в избу не пройти.

— Чего тут крестить, я ее еще не доделал, — сказал отец.

Мать неделю не разговаривала с ним. Он не страдал от того.

А меня крестили втайне от отца. Он уехал на паашню, а меня побыстренько собрали мать с бабкой и оттащили в церковь...

Нет, недаром сделался Василий Шукшин знаковой фигурой русского самосознания, тысячу лет разрывающегося между материнской, женственной, во Христе воплотившейся «ласковой» человеколюбивой культурой — и отцовским, крутым, воинским, бунташным, не поддающимся никакой «ласке» мужским нравом.

Поскольку изменений в этой тысячелетней ситуации пока не предвидится, — мы и дальше обречены задавать Шукшину вопросы, на которые лучше всего отвечает фраза, поставленная мной в первый подзаголовок.

Lew Anninski

EKSTREMIZM — SPOJRZENIE OD DOŁU

Streszczenie

Studium ekstremizmu „oddolnego” („ludowego”) na przykładzie twórczości Wasilija Szukszyna, zawartego między antynomiami: przenikniętej „strachem bożym” „kobiecej” duszy rosyjskiego ludu i jej „męskim” okrutnym obliczem.

Lev Anninski

EXTREMISM. THE POPULIST VISION
(BASED ON THE WORKS OF VASILY SHUKSHYN)

Summary

A study on populist extremism as a dichotomy between the “feminine” soul of Russian people, imbued with the “fear of God,” and their “masculine” cruel self.